* * *

Останешься с собой наедине –
не выйти покурить, но выпить воздух –
и новой мыслью думаешь о ней,
о жизни на свету. А мальчик – взрослый.

Скажи, и что там будет без меня?
Пространство пустоты сосет глазами.
Летит крупица льда. Крупицу льда –
глоток-наскок. Оставь. Мы выпьем сами.

Он, знаю я, здесь все проговорит,
сожмет горбушку утреннего хлеба.
Таков словарь; а день – перегорит.
Смотри в окно, смотри: я *был* и не был.

В начале марта

Поезд мчит на Лабытнанги
по архангельской глуши.
Ты черкни мне, добрый ангел,
эсэмэску напиши.
Друг сидит над пятой строчкой,
скрестив руки на груди.
Он на полке прям и склочен.
Километры впереди.
Так по Северной железной
к поселению идем.

Русский Север. Царство леса.
Плавный свода водоем.
Ненадолго здесь, конечно;
а хотя, не исключай:
надо б нам в избе со свечкой
съесть капусту, выпить чай.
Пусть деревню точит время.
Лишь чубушника побег –
как звезда – в конце апреля –
в объективе – оберег.

* * *

С Разъезжей свернул на Марата,
но Uber я брать не хочу,
ведь есть по три сотни на брата,
и музыка есть – и лечу

на мифологический Невский.
В айфоне обратный билет.
К чему уезжать? Было б не с кем
идти за черту на просвет –

то дело другое. В лиловый
здесь воздух окрашен. Узор
моей памяти – только слово;
продолжается разговор –

и мы продолжаемся. Значит,
и сеть перспективы верна:
филолог, дурак, неудачник –
вразвалочку. Сквозь времена.

Достигнут небес постранично,
их впишут в локальный реестр.
Те трое, минуя Аничков,
уходят. Играет оркестр.

Дуэль

Фотография Наппельбаума – вот – как прыжок в параллель: сквозь шум таксомотора и вакуум пересекают апрель, мимо свалок едут по Лахтинской (или ноябрь на ноже?). Также едут из новой редакции, кондитерской Беранже. Уже небо над Старой Деревней прячется в илистой мгле. И лишь восемь шагов в направлении «от результата». Дуэль.

– Ох, да им бы сейчас о хорошем!

– Ну как же… Видимо, нет.

«Дай Le Page мне!» – тихо рявкнул Волошин. Вскоре он взял пистолет. Пусть один из них встанет на кочку, а другой – выстрелит вверх. Сам Гумилев!.. Рвется сна оболочка, <…> ярок его фейерверк.

Понял: нет такой фотографии. Есть лишь порядок вещей, двойки-тройки по химии, алгебре; и – родинка на плече.

* * *

Возница обилетил пассажиров
и повернул на улицу Труда.
«Поэзия зависит от нажима,
режима, остальное – ерунда», –

подумал человек, уткнувшись в книгу.
Но город затянули облака;
вот школьник посмотрел «Конец каникул»
и в первый раз зажал аккорд В/А.

Мой друг в архиве раздобыл поэта,
а точнее – его стихи. Ну, да.
Мне кажется, что город стал макетом –
таким, что и не вспомню никогда.

* * *

Так недолго учился отцовству
и нередко черкал от руки,
что с годами ворованный воздух
променял на билет в Хмельники.

Дальний край болотной губернии,
где близ Подюга, Ковжа и Вель;
крынка неба, солнце вечернее,
а у церкви – ирисы. К тебе

пес бежит на соломенных лапах.
Зажигается первый моллюск.
Понимаешь: молиться не надо –
«Отче наш» позабыл. Наизусть

разве только стишок и припомнишь
(каждый здесь говорит про ИБ).
Этим летом поеду в Воронеж,
что-нибудь напишу о тебе.

* * *

От Покровской до Монмартра,
где живут твои друзья
(пару снимков — и обратно),
не добраться мне. Нельзя.

Слегонца прокрутим Бреля.
Клик – представлю сам себе –
слепок раннего апреля:
прочерк, звездочка, пробел.

Вновь таксистка Женевьева
отвезет на Одеон.

Там был Паунд. И с припева
загрустит аккордеон.

Есть мгновение простое,
неприметное. Прочти.
В ресторане сядут двое,
что невидимы почти.

Огоньки горят, как флоксы,
просит трубку господин.
Он, наверное, с Покровской –
и, должно быть, не один.

Покутят, пройдут сквозь двери,
разойдутся по домам.
Вглубь глазниц врастает время.
Опускается зима.

* * *

Стихи по осени читают,
а пишут, верно, в феврале;
планшет, состряпанный в Китае,
поймал кузминскую «Форель».

Смотрю в очередное небо.
Вновь лаком стал ручей до льда.
Нажму на клавишу «Отмена» –
и не уеду никуда.

Пусть веер северный и пальцы
не смажут зрение слезой:
мы пешеходы, постояльцы,
уходим в сумрак золотой.